

Л. И. Сараскина

## А. И. СОЛЖЕНИЦЫН КАК ЧИТАТЕЛЬ ДОСТОЕВСКОГО\*

Хочу предложить вашему вниманию небольшой фрагмент биографической книги об А. И. Солженицыне, над которой я сейчас работаю, вернее, часть большой главы «Русская литература в судьбе Солженицына», в которой центральное место занимает материал, связанный с темой «Достоевский в судьбе Солженицына». Именно *в судьбе*, поэтому я намеренно не касаюсь здесь моментов сопоставительных, наблюдений над стилем, аспектов творческой состоятельности, общих мотивов, явных или неявных переключек. Думаю, что тема «Достоевский в судьбе Солженицына» имеет столь же законное право на освещение, какое давно получила тема «Шиллер (или Пушкин) в судьбе Достоевского», — и потому, что во всех перечисленных случаях налицо великая, уникальная судьба, и потому, что с начала шестидесятых годов читающий мир соизмеряет масштаб Солженицына с масштабом Толстого и Достоевского.

И потому — «судьба». В интеллектуальный и читательский кругозор А. И. Солженицына Достоевский (в отличие от Толстого) вошел поздно. Известно, что эпопея «Война и мир» была прочитана *в десять лет* и вызвала отчетливое, раз и навсегда осознанное желание стать писателем и написать свою собственную эпопею столь же большого охвата — эпопею, посвященную революции, со стартовой ее точкой в Первой Мировой войне. Такая эпопея была начата в 1936 г. только что окончившим среднюю школу первокурсником Солженицыным (начата изучением материалов о самсоновской катастрофе, написанием первых глав, которые войдут впоследствии в первый роман «Красного колеса» — «Август Четырнадцатого», отложена в связи с войной, арестом, тюрьмой, лагерем и ссылкой, а потом продолжена и завершена пятьдесят лет спустя).

С Достоевским все обстояло значительно сложнее. Прорваться к книгам Достоевского Солженицыну в его школьные или студенческие годы было весьма проблематично (а он успел окончить математический факультет Ростовского университета и полтора года проучиться заочно в МИФЛИ). И здесь как раз мы вступаем на территорию судьбы — к тем ее изломам, которые так характерны для героев Достоевского и которыми зримо отмечена жизнь Солженицына.

«Я родился под сенью революции, в восемнадцатом году... Первое воспоминание в моей жизни, с которым я начал жизнь, было: я в церкви.

---

\* Доклад прочитан 22 мая 2001 г. на XVI Международных Достоевских чтениях «Достоевский и современность» в Доме-музее Ф. М. Достоевского в Старой Руссе.

Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чем же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отменные остроконечные шапки кавалерии Буденного, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты. Это было отнятие церковных ценностей в пользу советской власти... Это происходило в церкви целителя Пантелеймона в Кисловодске, рядом с нами, где меня и крестили... Скорбная картина подавления и уничтожения православной Церкви на территории нашей страны сопровождала всю мою жизнь от первых детских впечатлений: вооруженная стража обрывает литургию, проходит в алтарь; беснуется вокруг пасхальной службы, вырывая свечи и куличи... сбрасывает колокола наземь и долбит храмы на кирпичи... А когда в Ростове-на-Дону я стал ходить в школу — мимо километровой каре ГПУ и сверкающей вывески Союза воинствующих безбожников, одноклассники, науськанные комсомольцами, следили за мной, когда я с мамой ходил в церковь, а потом устраивали собрания-судилища. А был случай, когда силой сорвали с моей шеи нателный крест».

Солженицыну придется сказать о своем раздвоенном детстве и о самом себе нелегкие слова: «Жарко-костровый, бледно-лампадный, / Рос я запутанный, трудный, двуправдный». А также о том, как потаенная, лампадная правда постепенно выглаживается из его сознания. «В 30-е годы попал я в это ужасное время, когда у нас был общий поток марксизма, всех захватывающий, как ветер, как сильный ураган. Вся молодежь ушла в комсомол, вся молодежь верила в Маркса и Ленина, и действительно, я не устоял, не удержался в этом потоке... С пятого [класса толковали] обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха... Молодежь вся была захвачена марксизмом и верила в мировую революцию, тогда молодежь в церкви нельзя было увидеть».

Сознание Солженицына-студента, напичканное марксизмом, кажется, не нуждается более ни в чем. «С детства я откуда-то знаю, что моя цель — это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался». В числе того, что «липло», и был Достоевский. Автор «Бесов» не мог быть тогда ни усвоен, ни понят, ни воспринят. Еще до войны прочитаны «Преступление и наказание», «Записки из Мертвого дома», «Идиот» — без особого впечатления, скорее для самообразования; и по недавнему признанию Солженицына, от этого чтения он в восторг не пришел. Собственно и Толстой воспринимается вне его моральной проповеди, а как учитель-мастер крупной прозаической формы, которой можно воспользоваться, чтобы наполнить ее марксистской трактовкой революции.

Увлечение марксизмом, как признается Солженицын, неотъемлемо связано с потерей веры. «В ходе образования в советской школе, главным образом под влиянием философских трудов, которые нам давали, я испытал постепенное охлаждение к церкви... Накануне войны в Ростове не оставалось ни одной действующей церкви, они казались закрытыми навсегда.

Режим „ликвидировал Бога“ — по крайней мере я так думал... Я испытал сильное воздействие того марксистского учения, которое нам внушали в университете, и отошел от веры... Понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры... надо принадлежать к избранным. Избранные же те, кто владеет истиной. А неудачник пусть плачет».

Многokrратно говорит Солженицын о своем страстном увлечении «передовой теорией», о том, как он стал ее адептом и фанатиком. «Такая повелительная сила была в этом поле, в этом влиянии марксизма, который разлит был по Советскому Союзу, — что в молодой мозг входит, входит, начинает захватывать. И так вот, лет с семнадцати–восемнадцати, я действительно повернулся, внутренне, и стал, только с этого времени, марксистом, ленинистом, во все это поверил. И с этим я прожил до тюрьмы: университет и войну... Я стал сочувствовать этому молодому миру. Мир будет такой, каким мы его сотворим... Меня понесло течением». «Наше поколение до войны еще было совершенно оморено коммунизмом. Это был такой силы поток идейной обработки, что я, учась в институте, читая Маркса, Энгельса, Ленина, как мне казалось, открывал великие истины, и даже была такая у нас благодарность, что вот, благодаря Марксу, какое облегчение — всю предыдущую мировую философию, все 20–25 столетий мысли, не надо читать, сразу все истины — вот они уже достигнуты! О, это страшный яд!..»

С таким мировосприятием он пошел на войну, взяв с собой брошюру Ф. Энгельса «Революция и гражданская война в Германии», пошел спасать революцию от гибели. С офицерского училища он испытал радость опрощения: быть военным человеком и не задумываться. Радость погружения в то, как все живут, как принято в советской военной среде. Радость забыть душевные тонкости... Курсанты постоянно были голодны, боялись недоучиться, не высыпались, в страстном ожидании кубарей отработывали «тигриную офицерскую походку и металлический голос команд». «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье», — скажет Солженицын спустя годы.

О мироощущении молодого офицера красноречивей всего говорит стихотворение в прозе, написанное в 1943 г., перед ноябрьскими праздниками. В нем трудно узнать Солженицына, автора «Красного Колеса». «Как мне не любить человеческого тепла этих холодных дней ноября? Огней города в эти чернильные ночи? Вина в эти трезвые дни? Красных знамен над желтыми листьями? И не потому только, что в этот день самый мудрый из революционеров и самый революционный из мудрецов поставил мир на ноги. Еще потому, что именно в эти осенние дни я встретил нежную, нервную, музыкальную девушку, которую никто не целовал до меня. И сейчас, на правобережном плацдарме, отвоеванном у немцев, я встречаю все тот же свой любимый пролетарский праздник. За два года кровью и храбростью мы подтвердили свое право праздновать седьмое ноября. В этот день, кроме выстрелов и разрывов, у нас будет еще по стакану простого горячего напитка. Мы, не морщась, выпьем его — за огни городов, за счастье любимых, за красные знамена над желтыми листьями!»

И все же, пройдя трудный военный путь от рядового до комбата звуковой разведки и от Орла до Восточной Пруссии, получив боевые награды за личный героизм (в январе 1945 г. он вывел свою батарею из окружения почти без потерь), Солженицын сможет освоить опыт этой войны как мучительный труд самопознания и самоопределения. В этом смысле честно отработанные фронтовые будни, которые для многих писателей его поколения стали основной и единственной темой творчества, для самого Солженицына оказались началом высвобождения из духовного, нравственного плена. «Я метал подчиненным беспспорные приказы, уверенный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте... моя власть возвышала меня... Обрывал, указывал... Посылал солдат под снарядами сращивать разорванные провода. Отцов и дедов называл на „ты“... Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте, чтобы мне было удобно и безопасно. Что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой и — куда те пионерские грезы о будущем святом Равенстве!»

Война вошла в гражданское сознание будущего писателя прежде всего потенциалом правды, а значит — крамолы. Война поставила тяжелый для всякого русского сердца вопрос о границах патриотизма. На дорогах войны капитан Солженицын встречает обреченных владовцев, становится очевидцем непонятных казней, где «свои — своих», презирует тупых и трусливых парторгов, брезгует «гаденышами смершевцами», называя их «чеккистским дерьмом», травит с приятелями анекдоты про «художества» предвоенного НКВД, начинает рассуждать о роковых изъянах революции и зачитывается уже не Горьким, а Гумилевым. Глеб Нержин, главный романтический и автобиографический герой Солженицына, признается: «Потаенные я открывал в себе глубины, о которых не догадывался раньше», — и позже так формулирует свое представление о норме жизни: «Чтоб на Руси что думаешь — сказать бы можно вслух».

Пока получается не вслух, а в письмах. Со своим одноклассником, таким же фронтовым офицером Николаем Виткевичем, он ведет переписку во время войны между двумя участками фронта; и оба, сильно недооценивая потенциал военной цензуры, не могут удержаться от почти открытого выражения в письмах политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного ими из Отца в Пахана. «Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена. К весне 1945 уже год каждый из нас носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, — „Резолюцию № 1“, составленную при одной из фронтовых встреч. „Резолюция“ эта была — энергичная, сжатая критика всей системы обмана и угнетения в стране, затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: „Выполнение всех этих задач невозможно без организации“. Даже безо всякой следовательской натяжки это был

документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегли и фразы переписки — как после победы мы будем вести „войну против войны“».

И вот одно из самых драматичных признаний Солженицына — о себе и современной ему литературе. «Если б меня не арестовали в конце войны и я стал писателем в русле официальной советской литературы, я, конечно, не стал бы собой, и Бога потерял бы... Если бы я не попал в тюрьму, я не оценил бы ни истинных задач своих, ни истинной обстановки в стране и я не получил бы той закалки, тех особенных способностей к твердому стоянию и конспирации, которые именно лагерная и тюремная жизнь вырабатывает. Так что меня писателем, тем, которым вы меня видите, сделала тюрьма и лагерь... В тюрьме я снова встретился с разнообразием, невиданно свободным разнообразием мнений — и я заметил, что мои убеждения прочно не стоят, ни на чем ни основаны. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признать новый факт, ни оценить новое мнение прежде, чем найдет на него ярлык из готового запаса».

Замечательно, что Достоевский — пробный камень в этих спорах.

Приведу всего один пример такого спора — в диалоге героев романа «В круге первом» Сологдина и Нержина (прототипами которых были, соответственно, Д. И. Панин и А. И. Солженицын); действие происходит в 1949 г., на шарашке в Марфино.

[Сологдин:] «Люди сложней, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснить нам людей до конца — а в жизни мы никогда до конца не узнаем. Вот за что люблю Достоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! — что за люди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь».

[Нержин:] «Ставрогин — это, кстати, откуда?»

— Из „Бесов“! Ты не читал? — изумился Сологдин.

— „Бесов“?.. Да разве мое поколение..? Что ты! Да где было их достать? Это ж контрреволюционная литература! Да просто опасно!»

В послевоенных камерах Бутырской тюрьмы, где Солженицын встречался с умнейшими людьми, обсуждался не вопрос, устоит коммунизм или нет, а обсуждалось, каким образом страна будет из него когда-нибудь разумно выходить. Именно там, на тюремных нарах и на шарашке, в полной мере открылся ему Достоевский, полностью изменив впечатление первого поверхностного знакомства. А была еще одна почтительная, но случайная встреча с Достоевским на дорогах войны, когда в одном из брошенных немецких домов в Восточной Пруссии (хозяин — местный мельник, мукомол), капитан Солженицын увидел объемистую переплетенную рукопись по-немецки — чью-то монографию о Достоевском, подготовленную к печати; и издательский отзыв на рукопись — хорошая, мол, качественная работа, но по обстоятельствам времени не может быть издана сейчас, а только когда-нибудь позже... Изумленный встречей, Солженицын напишет о причудливых дорогах Европы: «Словно путь — проспектом Невским, / В каждом доме — Достоевский, / Полный, розный, а в одном / Даже рукопись о нем».

Но главный жизнестроительный вывод был впереди. «Я бы вернулся к вере во всяком случае... Просто лагерный опыт открыл мне глаза раньше. Лагерь самым радикальным образом обезглавливает коммунизм. Идеология там полностью исчезает. Остается борьба за жизнь, затем открывается смысл жизни, а затем Бог». Лагерная жизнь постепенно возвращала писателю основы духовного бытия. «Это, как говорится, был Божий указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме. Через лагерь, которые меня отвлекли по годам, по силам и могли кончиться моей смертью, через это меня ввело в самое русло моей главной темы».

Встреча с Достоевским — это духовный ориентир, который помог Солженицыну понять и сформулировать главную мысль, центральную идею. «Обыкновенно встреча человека, какой бы он ни был, с коммунизмом происходит в два тура. В первом туре почти всегда выигрывает коммунизм; как дикий зверь он прыгает на вас и опрокидывает. Но если есть второй тур, то тут уж почти всегда коммунизм проигрывает. У человека открываются глаза, и он замечает, что преклонялся перед обманом, нарисованным на рогоже. И он получает прививку, навсегда». Опыт Достоевского дает Солженицыну основание сказать: «Я многие годы страдал: ну за что такая несчастная судьба у России!.. И я понял: значит, вот это и есть узкие, страшно узкие ворота, через которые мир должен пройти. Просто Россия прошла первая. Мы все должны протиснуться... В XIX благополучный век — на самом деле подготавливалось падение человечества, в 1914 разразилась катастрофа...»

Солженицын понял свою писательскую задачу как продолжение дела Достоевского: о падении человечества в XIX веке и о грядущей катастрофе предупредил автор «Бесов»; о сбывшейся катастрофе XX века должен написать он сам. Правда, с одной существенной поправкой. «После Толстого и Достоевского вырыта в русской истории бездна. Мы пришли в XX век — в условия жизни как бы другой планеты. Сознание нашего народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с XIX веком и параллели с XIX веком становятся трудными, их очень осторожно надо проводить». Но Достоевский для него — писатель XX века, — «один из тех, кто создал русскую литературную традицию, и даже больше, самую высшую духовную ее струю. Трудно не попасть в эту струю и не испытать ее влияния».

Как-то в одном из интервью у Александра Исаевича спросили: «Кто испытал больше страданий — Достоевский или вы?» Солженицын ответил: «Советский ГУЛАГ несравнимо страшней царской каторги. Но мера внутренних страданий человека не всегда соответствует внешне пережитому». Поэтому «Записки из Мертвого дома» — произведение самого подробного, пристального и ревнивого внимания Солженицына, которое он считает непревзойденным литературным образцом. Сравнение двух миров единого пространства русского Мертвого дома проходит через все творчество, через всю жизнь Солженицына.

«Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа... Пошла лютая жизнь, и уже не назовут

заключенного, как при Достоевском и Чехове, „несчастненьким“, а пожалуй — „падло“... Доктор Ф. П. Гааз у нас бы не приработался». «В „Преступлении и наказании“ Порфирий Петрович делает Раскольникову удивительно тонкое замечание, его мог изыскать только тот, кто сам через эти кошки-мышки прошел: что, мол, с вами, интеллигентами, и версии мне строить не надо, — вы сами ее постройте и мне готовую принесете». «Гоголя — прочь! Чехова — тоже прочь! — слишком много еды! Читать духовное. Достоевского — вот кого надо читать арестантам. Но позвольте, это у него: „дети голодали, уже несколько дней они ничего не видели, кроме хлеба и колбасы“?»

Что до омской каторги Достоевского (Солженицына привезли в Омский острог на несколько дней в августе 1950 г., этапом, по дороге к месту назначения — в Экибастузский Особлаг, и он не подозревал тогда, что тут до него пришлось сидеть и великому предшественнику), то там «вообще бездельничали. Работа у них шла в охотку, впритруску, и начальство даже одевало их в *белые* полотняные куртки и панталоны.. После работы каторжники „Мертвого дома“ подолгу гуляли по двору острога — стало быть, не примаривались. [Декабристам в Нерчинске был урок добыть и нагрузить три пуда в день руды на человека, Шаламову на Колыме *восемьсот пудов*]. Опасность умереть от истощения никогда не нависала над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них („в загоне“) ходили гуси (!) и арестанты не сворачивали им голов. Хлеб на столах стоял у них вольный, на Рождество же отпускали им по фунту говядины, а масла для каши — вволю».

Каторга Достоевского, зафиксированная Солженицыным, не знала этапов, и люди отбывали в одном остроге и по десять, и по двадцать лет, что совсем другая жизнь. Они не знали ни темной внезапной тасовки «контингентов»; ни переброски «в интересах производства»; ни комиссовки, ни инвентаризации имущества; ни внезапных ночных обысков «с раздеванием и переключиванием всего скудного барахла»; ни отдельных доскональных обысков. «Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех... При Достоевском можно было из строя выйти за милостынею. В строю разговаривали и пели».

И вот самый фундаментальный пункт. «Вероятно, это небывалое событие в мировой истории тюрем: когда *миллионы* арестантов сознают, что они правы, все правы и никто не виновен. С Достоевским сидел на каторге один невинный!.. В нашем почти поголовном сознании невинности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского. Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же можно загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — сознание безусловной личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной напасти. А от напасти — не пропасти. Надо ее пережить».

Но именно поэтому Достоевский — высший авторитет. «Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали к узникам стороннее сочувствие;

однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказания! Об этом стоит задуматься... Оглядысь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя, ни своих стремлений. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. На гниющей тюремной сололке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас годами».

И еще одно признание. «С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке. Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство. Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклиная. Я достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: „Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!“»

Через эту оптику — оптику страдания — иначе выглядит вся история русской и мировой литературы. Сколько ни стоит мир, всегда были два несливаемых слоя общества — верхний и нижний, прявящий и подчиненный, тех, кто не нуждался работать руками, и тех, кто это только и мог. «И тогда мы можем ожидать существования четырех сфер мировой литературы (и искусства вообще, и мысли вообще). *Сфера первая*: верхние описывают верхних, себя. *Сфера вторая*: верхние обдумывают нижних, „младшего брата“. *Сфера третья*: нижние изображают верхних. *Сфера четвертая*: нижние — нижних, себя.

У верхних всегда был досуг, избыток или скромный достаток, образование, воспитание. Желаящие из них всегда могли овладеть художественной техникой и дисциплиной мысли. Но есть важный закон жизни: довольство убивает в человеке духовные поиски. Оттого *сфера первая* заключала в себе много сытых извращений искусства, много болезненных и смолюбивых школ-пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали писатели, глубоко несчастные лично и / или с непомерным напором духовного поиска от природы, — создавалась великая литература.

*Сфера четвертая* — это весь мировой фольклор. Относящаяся к сфере четвертой письменность — зародышева, неопытна, неудачна, потому что единичного умения здесь всегда не хватало. *Сфера третья* страдала пороками неопытности и была отравлена завистью и ненавистью — чувствами бесплодными, не творящими искусства. Или была испорчена холопским преклонением.

Морально самой плодотворной обещала быть *сфера вторая*. Она создавалась людьми, чья доброта, порывы к истине, чувство справедливости оказывались сильнее их дремлющего благополучия и одновременно чье художество было зрело и высоко. Но вот был порок этой сферы: *неспособность понять доподлинно*. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали — но именно потому они не могли точно понять. Они всегда

смотрели со стороны и сверху, они никак не были в шкуре нижних, и кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй. Видно, уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощения этого можно достичь, увы, только внешним насилием».

Солженицын пишет: «Так образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В Архипелаге же Гулаге этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу. Миллионы русских интеллигентов бросили сюда не на экскурсию: на увечья, на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей развитых, зрелых, богатых культурой оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба или шахтера. Так впервые в мировой истории (в таких масштабах) слились опыт верхнего и нижнего слоев общества! Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних: жалость. Жалость двигала благородными соболезнованиями прошлого — и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят этой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости... Только у интеллигентных эзков АГ эти угрызения наконец отпали: они полностью делили злую долю народа! Только сам став крепостным, русский образованный человек мог теперь (да если поднимался над собственным горем) писать крепостного мужика изнутри. Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а оперчекисты в глаза... Опыт верхнего и нижнего слоев слились — но носители слившегося опыта умерли».

Какой же вывод из этой новой истории отечественной литературы? Солженицын снова обращается к Достоевскому.

«Достоевский загадочно обронил однажды: „Мир спасет красота“. Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла? Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно непроверяема и подчиняет себе даже противящееся сердце...

Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшавшая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянно материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то, может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взойдутся в то же самое место и так выполнят работу за всех трех? И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: „Мир спасет красота“? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно. И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?»